

СЕРГЕЙ ЕВСЕЕВ



ДИВО-СОН

ПОВЕСТЬ

Сто лет назад, а может, и больше, случилась в моей жизни “чернобыльская девочка” — было это в чудном, сказочном городе моей молодости: древнем и вечно юном Киеве, когда сам я был юн и свеж, как саженец тополя, только что воткнутый в увлажнённую весеннюю землю во время апрельского коммунистического субботника таким же, как и я сам, безусым восемнадцатилетним студентом с чистым сердцем. Благодатная эта киевская земля приняла саженец и взрастила дерево, напитав его соками, вложив в него силы, наполнив неизъяснимой любовью и благодарностью. Вырос и я, и стал тем, кем и должен был в конце концов стать, превратившись постепенно из защитника родины в журналиста и писателя.

И вот через тридцать, почитай, с хвостиком лет, на очередном рубеже своей жизни я неожиданно вспомнил, причём скорее душой, чем умом, ту свою девочку из моей золотой курсантской юности, которую я когда-то торжественно пронёс на руках по Крещатику мимо правительственных трибун во время первомайской демонстрации.

ЕВСЕЕВ Сергей Владимирович родился в 1966 году в Новосибирске. Окончил Киевское военное инженерное училище связи. Служил офицером в войсках связи — в Польше, Германии, Белоруссии, Украине. Публиковал статьи и зарисовки в армейских изданиях, затем в киевских журналах. В середине 90-х уволился из рядов Вооружённых Сил по собственному желанию и занялся журналистикой. В 2011 году вышла книга стихов и рассказов “Печали свет”, в 2020 году — сборник очерков и рассказов “Чемодан, вокзал, Россия”. Лауреат международных литературных премий “Молодая гвардия” и имени М. Матусовского. До 2014 года — заместитель главного редактора транспортной газеты Украины “Магистраль”. Сейчас живёт в подмосковной Лобне.

Демонстрация та была не совсем обычной, как и сам Первомай. Но необычности эти, как, например, непривычно пустынные об эту пору киевские завораживающие весенние улицы, зовущие нас, дурашливых и юных, за собой в неизвестность, навстречу чуду, в любую пору года, а весной уж тем более, — никак не портили нашего приподнятого настроения, ведь впереди были майские праздники, сулящие нам увольнения в город, а значит, пусть и краткий, но всё же отдых от сурового нашего казарменного быта. А ещё, помню, не отпускало меня тогда ощущение какой-то незримой опасности, тревоги, оно буквально разлилось повсюду и висело в воздухе. И, что самое неприятное, — мучила постоянная, доходящая временами до тошноты сушь во рту и, как следствие, непроходящая жажда.

Но все эти странности с особой ясностью всплыли в моей памяти почему-то именно тридцать лет спустя, в очередную киевскую весну, как и тогда, чарующую, звонкую, волшебную, зовущую за собой куда-то в прозрачную, слегка колышущуюся от зноя даль — за город, в зелёные дубравы по-над Днепром, к лесам, полям и озерам. И перед моим мысленным взором снова явилась та моя девочка, причём с особой какой-то ясностью, будто бы всё это было вчера: и тот вешний, звонкоголосый, знойный киевский май 1986 года, и демонстрация на Крешатике, и эта шестилетняя пухленькая девочка с необычайно серьёзными глазами, которую я нёс на руках в облачении воина-освободителя, то есть в роли своего деда Фёдора, сгинувшего на войне.

Да, та самая “чернобыльская девочка”, которая после той памятной демонстрации так долго ещё являлась в тревожных моих юношеских снах. Но тогда я, конечно, не придавал этим снам сколь-нибудь серьёзного значения: в самом деле, мало ли что снится нам на заре нашей юности. Отметил только про себя, вспоминая свою бабушку: “Девочка — значит диво!”. Стало быть — “Диво-сон”. О чём он, к чему? Да какая разница! Ведь в юности столько дива дивного ждало нас в нашей жизни фактически каждый божий день...

И вот через без малого тридцать лет этот диво-сон явился ко мне снова — во всей своей изначальной первозданности и недосказанности. Зачем, к чему? Ну, кто ж мне теперь ответит на этот вопрос, кроме меня самого. И я засел за письменный стол, открывая для себя самого как бы заново день за днём из той далёкой и чарующей киевской весны — весны, которая была на заре моей жизни. Только таким способом и можно было докопаться до сути этих моих тревожных снов, которые не давали мне покоя в юности и вот неожиданно вернулись снова — через столько-то лет... Я всё пытался, и тогда, и теперь, понять, о чём беззвучно шепчут детские пухлые губки моей “чернобыльской девочки”, о чём кричат её наполненные тревогой и затаённым укором глаза.

А вскоре в Киеве, моём вечном, навек любимом и родном моём городе, случился майдан. И город накрыло чёрным дымом и гарью от пожарища, которое с каждым днём разрасталось — на майдане жгли костры из автомобильных покрышек. Вскоре занялись огнём и близлежащие дома. Очаг этого пожарища, которое с таким трудом раздували и в конце концов раздули украинские радикалы, постепенно расширялся и расплзался по городу, подобно какому-то страшному сказочному чудовищу. Но самое страшное — ядовитый дым от этого огромного пожарища стал проникать в сердца людей, постепенно отравляя их и превращая в злобных монстров. Даже и тех интеллигентных редакционных старушек, которые под моим началом вычитывали и выправляли до идеальной почти чистоты каждый номер нашей газеты, выходящей, к слову, на двух языках: русском и украинском. Да что там — даже близких людей, с которыми вместе переживали горести и радости, с которыми праздновали дни рождения, крестили и растили детей, с которыми делились самым сокровенным, а подчас — было ведь и такое в девятые годы — делили кусок хлеба. И вот!..

Сердце разрывалось от неотвратимости грядущей катастрофы, которая, как водится, брала начало в людских сердцах. В общем, всё-всё происходило в точности по Булгакову, как по написанному им в романе “Белая гвардия” — о событиях без малого столетней давности. Только гораздо страшнее

и гротескней — потому что чёрный дым над родным твоим городом, который ты знал в лучшие его времена: цветущим, добрым, таинственным, с вечной печатю красоты, святости и тайны на его благородном, увенчанном сединой челе (таким его увидел герой повести “За тридевять земель”), всё ширился и разрастался, застлав собой само небо и вообще всё на свете... И даже, казалось, саму — полную испытаний, любви и горького счастья — твою жизнь, накрепко связанную с этим вот вросшим в твоё естество городом. И потому ещё, что дело-то, в конце концов, дошло до крови, до сотен человеческих жертв. И по всему было видно, что это ещё только начало, что большая кровь ещё впереди.

Не знаю, почему, но я почти каждый вечер, ближе к ночи, после сдачи очередного номера газеты, устремлялся к майдану (бывшей площади Октябрьской революции), пробираясь к нему заповедными киевскими улицами: Прорезной, Владимирской, Малоподвальной (в общем, тем самым роковым путём, который в своё время совершил Алексей Турбин, убегая от наступавших петлюровцев) — и, притулившись где-нибудь в сторонке, под массивными сводами здания почтамта, всё всматривался в лица беснующихся под мантры, звучащие со сцены, людей, в лица, на которых отражались и злоба, и восторг, и радость, и решимость... Особенно притягивали к себе взгляд красивые лица девушек и женщин, на которых плясали отблески пламени от костров, — искажённые одновременно радостью и злобой лица. Нереальное, фантастическое просто зрелище — настоящий ведьмовской шабаш...

И однажды облик одной из этих майданных ведьм — красивой белокурой женщины лет тридцати пяти в недешёвом прикиде, с картинно искажённым дьявольской страстью лицом — соединился в моём сознании со смутным обликом моей “чернобыльской девочки”, так неожиданно снова вернувшейся ко мне во снах почти тридцать лет спустя. И тут меня словно бы осенило: так вот к чему этот неожиданный мой диво-сон! Вот, значит, о чём так настойчиво пыталась предупредить меня сквозь годы моя “чернобыльская девочка” — и тогда, и сейчас, накануне этих вот страшных событий, которые ещё за пару лет до этого невозможно было себе представить даже в кошмарном сне. А между тем, всё к этому неотвратимо шло — все эти тридцать с хвостиком счастливых лет моей жизни, проведённых в лучшем из городов, как не единожды утверждал Булгаков на страницах своих произведений, матери городов русских, как писано в древней летописи, — несравненном нашем и вечном граде Киеве.

Все тридцать лет и три года — как один диво-сон, которому, казалось, никогда не будет конца.

С некоторых пор ко мне снова вернулась во снах моя “чернобыльская девочка”. И, что удивительно, я её сразу узнал: пухленькие губки, полные розовые щёчки, золотистые локоны на висках, как у маленькой сказочной принцессы, на голове — два огромных белых банта в туго заплетённых косичках и такое же белое воздушное платье, из-под которого торчат две ослепительно белых ножки в белых же носочках и чёрных лакированных туфельках. И вся она была какая-то ладная, улитанная, как сдобная булочка, с мягкой, как подушечка, попкой, которая совсем не давила мне на плечо... Девочке было тогда лет пять, самое большее — шесть, в общем, старшая группа детского сада, ребёнок, несмышлёная малышка. Мне же в ту памятную весну шёл двадцатый год — сам уже вполне мог быть молодым папой, как многие мои ушлые да скороспелые однокурсники. Ушлые — потому, что женатиков наших уже чуть ли не со второго курса каждый день после занятий отпускали в увольнение в город аж до утра. Нам же приходилось в свободные сорок минут после самоподготовки и ужина лишь слоняться вдоль училищного забора на дальнем спортгородке да, вздыхая, поглядывать из-за него в глубь двора, где за раскидистыми деревьями уютно и таинственно светились окна жилого пятиэтажного дома...

Да, я сразу же узнал эту девочку из своего неожиданного сна. И не потому, чтобы я её уж слишком хорошо запомнил тогда, первого мая 1986 года, нет, я и взглянул-то на неё тогда лишь вскользь, приноравливаясь,

как бы ловчее подхватить её и водрузить к себе на плечо, в общем — мгновенная вспышка на какие-то доли секунды, как в фотоаппарате, когда во время снимка срабатывает механизм затвора, — просто она мне потом ещё долго снилась после той первомайской демонстрации. И вот теперь, через тридцать почти лет после того далёкого чернобыльского лета, она снова напомнила о себе. Зачем, почему?

В тот год была необыкновенно ранняя весна: тёплая, ясная, ласковая. Солнце рвалось во все окна старого нашего казарменного корпуса ещё задолго до подъёма и будило ребят, блуждая по юным их безусым лицам, отчего начинали переливами во всех концах огромной нашей казармы скрипеть пружинные койки, как будто кто-то невидимый разворачивал меха старой гармоники, невпопад нажимая на клавиши, отчего и получался этот немыслимый заунывный металлический стон вместо музыки. Помню, снился мне как-то под утро необыкновенно светлый сон, который заставлял меня благостно улыбаться. О чём он был? Думаю, что о родном доме, о маме и бабушке. Может, о девочке, которая осталась где-то там, за тридевять земель, в родном моём городе. Мама, бабушка, родной дом, беззаботная школьная юность, стройная, как берёзка, девочка с русыми волосами, уходящая от меня и медленно растворяющаяся среди весенней дымки в конце школьной аллеи... И вот уже вместо девочки остаётся лишь светлое солнечное пятно, через какое-то мгновение и вовсе рассыпавшееся в воздухе на сотни ярких золотистых бликов, просиявших на солнце опаловыми жемчужинами. Стало быть, одна большая и ослепительно яркая звезда распалась на мириады малых звёздочек, рассеявшихся в пространстве, подобно золотому песку, драгоценной невидимой пыли... Таков в первом приближении был мой сон — как всегда, под утро, смутный, расплывчатый, неясный. Но отчего-то просияло ослепительным лучом, а после чётко отпечталось в мозгу загадочное слово: “Звезда!” От ярчайшего этого всполоха невольно приоткрыл глаза, и их тотчас же наполнил до краёв настырный солнечный свет. Койки какофонически заскрипели под моими сокурниками, и оглушительный этот скрип волнами перекачивался от одного края казармы к другому и обратно. Через минуту из коридора послышался испуганный голос дневального: “Дежурный по курсу, на выход”. Вслед за этим по паркету прогрохотали подкованные металлом сапоги дежурного, с треском растворились двери казармы, после чего последовал лаконичный доклад дежурного вполголоса: “Товарищ подполковник, во время моего дежурства бу-бу-бу бу-бу-бу”. После послышались мягкие шаги начальника курса подполковника Синицына, за ним мелкими шажками, не иначе вприпрыжку, поспешал дежурный по курсу. И уже издалека, с дальнего края казармы, где была курсовая канцелярия, до моего слуха и сознания сквозь теплящийся ещё сон донеслись тревожные прерывистые фразы: “Чернобыль!.. Авария на станции... Чтоб ни слова о том, что услышал, не проронил. Всё понял?!” И погружаясь снова в сладостную нирвану сна, самого дорогого — до подъёма оставались считанные минуты, — я успел ещё удивиться: что это за слово такое диковинное: “Чернобыль”, — былль или небыль? А позже, на утренней зарядке, во время бега в плотном строю своих товарищей вокруг столетнего нашего училищного корпуса, жадно хватая ртом свежий утренний воздух, густо наполненный разнообразными ароматами — от вязкого запаха солдатского варева, доносящегося из столовой, до душного, пьянящего аромата только вчера расцветшей вдоль забора за караулкой сирени, — я всё сильнее вспоминал это чудное слово, случайно выхваченное из смутной речи начальника перед самым подъёмом. И никак не мог. Тяжёлые сапоги моих однокурсников безжалостно бивали в асфальт все созвучия, возникавшие в моей бедной голове: “Быль, небыль, раз, два, три, былль, небыль, раз, два, три!”

И потом, уже сидя на лекциях, то и дело взглядывая сквозь широкое окно аудитории на зелёную покатуую крышу старого учебного корпуса, на зазеленевшие в одночасье вдоль плаца каштаны, я всё пытался вспомнить это занозистое и в то же время плачающее-то книжное, вроде как отдалённо даже знакомое, сквозь чуткий утренний сон отпечатавшееся в сознании слово, произнесённое нашим начальником курса полушёпотом в тёмном коридорчике

перед канцелярией. Спросить, что ли, у дежурного по курсу? А кто, кстати, сегодня дежурный? Но тут преподаватель военной психологии начал задавать вопросы, наугад выхватывая фамилии из группового журнала, и я, судорожно заглядывая в конспекты своих соседей по парте, попытался как можно быстрее вникнуть в суть темы текущего занятия, таким образом возвращаясь из своих мыслей на грешную землю.

А после обеда наш курс выстроили на плацу и объявили, что нам выпала большая честь принимать участие в первомайской демонстрации на Крещатике. И первая тренировка состоится на главной улице города прямо сейчас. А что, скажите, может быть лучше для изголодавшихся по свободе, шуму и сутолоке нарядных весенних улиц и по виду обычных мирных горожан почти двух сотен здоровых оглоедов с восприимчивыми и пылкими в большинстве своём сердцами, чем вместо самоподготовки выйти, пускай и строем, на центральную, самую манящую и привлекательную улицу весеннего города и пройти по ней ровными рядами, плечом к плечу, под удивлённые возгласы и всплески ладоней многочисленных прохожих, среди которых, конечно же, как всегда, будет так много нарядных и улыбчивых киевских девушек. А если к этому ко всему прибавить ещё тот факт, что всё это захватывающее действие будет происходить во время порядка уже надоевших всем плановых самостоятельных занятий в душевных и полутёмных классах с овальными потолками старого учебного корпуса, — получалось совсем уж круто, и радости нашей не было предела. Тем более что до Крещатика нам предстояло проделать довольно немалый путь пешком по длиннющему бульвару Леси Украинки, который прямёхонько упирался в тыльную сторону Бессарабского рынка. А оттуда уж длинная змейка нашего курса, извиваясь вдоль старинного, похожего на театр, здания рынка, взлётит на “взлётную полосу” киевского Бродвея, откуда начинались все воскресные променады тех немногих из нас счастливиц, которым выпадал жребий получить увольнительную. Смущало одно — до Первомаея оставалось уже всего ничего: каких-то четыре дня, тогда как обычно к парадам нас начинали готовить загодя, чуть ли не за три месяца.

Правда, ни о каком параде на этот раз речи не шло — парады обычно устраивали на 9 Мая, День Победы, и ещё на 7 Ноября. А в каком, интересно, качестве мы будем участвовать в демонстрации трудящихся — физкультурников, что ли? Или передовой студенческой молодёжи? Непонятно. Но вскоре всё выяснилось: на этот раз, и, как нам сказали, чуть ли не впервые в истории, мы должны были изобразить на мирной демонстрации трудящихся воинов-освободителей. Короче говоря, несмотря на весну, мир, труд и май, наша колонна должна была показать всем, что “броня крепка и танки наши быстры”. А для этого, по замыслу организаторов действия, мы должны были облачиться в армейские плащ-накидки, каски с крупными красными звёздами, как в фильмах про войну, и плюс ко всему ещё и взять автоматы, правда, деревянные, в положении “на грудь”. На первую и вторую тренировки нам не выдавали ни накидок с касками, ни бутафорских автоматов — суть их заключалась в прохождении по Крещатику как можно более ровными рядами, с учётом того, что идти мы должны были, хоть и в шеренгах, но на приличном довольно расстоянии друг от друга, а не сцепившись плотно локтями, как это делалось обычно в парадном строю. А ведь держать равнение на расстоянии друг от друга бывает довольно непросто: шеренги всё время норовят изогнуться замысловатыми змейками, пробуй-ка удержи ровность строя на глазок, да ещё и на протяжении не менее чем трёхсот метров как минимум, дабы достойно смотреться с правительственных трибун. Балконы и окна окрестных зданий тоже, конечно, имели значение. “На вас смотрит весь мир, — втолковывал нам, отрывисто и чётко проговаривая каждое слово, подполковник Синицын. — Попрошу не забывать об этом!” Мы внимали каждому слову строгого, сухощавого, убелённого благородной седью нашего курсового командира, проникаясь каждой буквально клеточкой своих существ важностью и ответственностью возложенной на наши юношеские плечи миссии. И только тихо удивлялись про себя, не смея даже полусёпотом, даже по углам своих “кубриков” и курилок высказать своё

удивление, растерянность и недоумение: отчего в городе в эту благостную весеннюю пору было так мало людей на улицах? Тем более что Крещатик во время наших недолгих вечерних тренировок, похоже, никто не оцеплял. Ну, ладно Крещатик, может, людей, в конце концов, просили воздержаться от прогулок по центральной улице в предпраздничные дни, хотя и это представлялось невероятным, — но куда же, скажите, подевался весь народ, к примеру, с бульвара Леси Украинки, тем более в эти-то почти по-летнему погожие деньки? Однако рядовому курсанту не положено много думать. Размышлять и думать требовалось лишь во время учебных занятий. В остальное время за нас думали наши отцы-командиры! Таков был один из основополагающих армейских постулатов. А чтобы поменьше думали, нас от подъёма и до самого отбоя плотно загружали всякой разной чепухой: бесконечные построения, проверки, осмотры, наряды, в общем: день-ночь — сутки прочь! Распорядок дня и впрямь был такой плотный и жёсткий, что к отбою мы едва дотягивали ноги до кроватей, буквально засыпая на ходу. К тому же все мы были какими-то рассеянными и сонными в те памятные апрельские деньки, не иначе как осенние мухи. Между тем в городе уже вовсю царствовала весна! Да какая! Пышная, яркая, стозвонная...

Но вот что интересно: ровно за полтора суток до самого Первомая, во время проведения его итоговой вечерней репетиции, Крещатик вновь, как и обычно, наполнился людьми от края и до края. И в самом деле казалось, будто яблоку негде упасть на легендарной этой киевской улице, а не то что пройти по ней плотным курсантским строем, плечо в плечо, равнение на правительственную трибуну... Уже за несколько кварталов от Бессарабки — по бокам улиц Леси Украинки и Бассейной — плотно стояли автобусы, во многих из них ещё оставались люди — какие-то ряженые в синих и красных шароварах и белых вышитых украинских сорочках. Ряженые! Слово-то какое подвернулось! А сами-то мы были кто? Те же самые ряженые — только не в украинских шароварах с вышиванками, а в хэбэ да в плащ-палатках, которые до Крещатика несли с собой под мышками, а каски со звёздами болтались на локтях. Хэбэ цвета хаки с сапогами были свои, родные. Причём перед этой, последней, генеральной тренировкой — обмундирование наше было тщательно выстирано и отутюжено, а сапоги начищены до зеркального блеска. И тренировка эта последняя была по времени на удивление ранней, в отличие от всех предыдущих — ещё не было на часах и восьми вечера, как мы уже выстроились в колонны перед кинотеатром “Орбита”. По передним рядам тотчас прокатилось гулкое: “У-у-у-у!” — прямо перед нашей колонной разместились пёстрая “коробка” из девчат лет шестнадцати от силы, в коротких ярких юбочках зелёного цвета и в спортивных белых облегающих маечках. После продолжительного, как тяжёлый вздох, этого “У-у-у-у!” задние наши ряды начали напирать на передние. Многие из последних рядов вытягивали вперед шеи, как гуси: что там, что там? Сердце забилось, запрыгало в груди внезапно разбуженным воробышком, дыхание перехватило от неожиданной этой картины: сотни ослепительно белых девичьих ног впереди — как диковинное какое-то фантастическое видение, галлюцинация, сон наяву...

— И-и-и-ста-но-вись! Равняйся! Смирно! — донёсся откуда-то сбоку негромкий, но властный, с металлическими нотками голос нашего курсового командира. И воробышек тотчас испуганно замер в груди. Девичьи ноги замедлили впереди — пёстрая девичья “коробка” двинулась с места, в глазах зарябило от этого фантастического зрелища, и воробышек в груди очнулся.

— Шагом-м марш! — прозвучала команда нашего курсового. — Держать равнение!

От многообразия навалившихся разом впечатлений сильно пересохло в горле — так, что даже стало трудно дышать. И, помню, я всё никак не мог, как ни силился, сглотнуть слюну, хотя на улице было не так уж и жарко в этот вечерний час... От тщетных усилий хоть как-то увлажнить горло и справиться наконец с этой ужасной сухостью во рту у меня даже поплыли золотистые круги перед глазами. За полета примерно метров от пересечения Крещатика с улицей Карла Маркса между наших рядов неожиданно

замелькали женщины с очень серьёзными, даже испуганными лицами — они вели за руки детей, в основном девчушек в белоснежных платьицах, в таких же гольфах и с огромными белыми и розовыми бантами на головах.

— Очень прошу вас — осторожно! — тревожно проговорила, глядя мне прямо в глаза, молодая, но очень усталая — так мне показалось! — женщина с острыми скулами и тёмными потухшими глазами, передавая в мои руки своё сокровище с огромными алыми бантами в косичках. Этими своими скорбными бездонными глазницами она напоследок так многозначительно глянула на меня, что взгляд её отпечатался чёрно-белым оттиском в моей памяти на всю оставшуюся жизнь. Девочку я посадил на плечо, даже не успев толком взглянуть на неё: так поразила меня её мамаша. После прохождения мимо пустой правительственной трибуны мы по команде нашего курсового командира дружно спустили ребятишек на землю — и они тотчас побежали, замелькав белыми пятнышками, подобно бабочкам-капустницам, между нашими рядами к тротуару возле ресторана “Столичный”, не дожидаясь, когда их заберут их матери или воспитательницы. А мы, не останавливаясь, — сзади-то уже напирали, подталкивая нас в спины, следующие за нами колонны демонстрантов, — завернули у гостиницы “Днепр” направо, на улицу Кирова и, как были, общим строем, направились в гору, на Печерск, в свои старые казармы. Транспорти нам не полагался, да и сколько там было той дороги! Зато впечатлений — пропасть! Ведь кругом буйствовала неповторимая киевская весна. Весна!.. Всё вокруг было в цвету. Но улицы при этом, чем дальше мы удалялись от центра, тем снова становились всё пустынной. Теперь не то что девушек — вообще отчего-то почти не было видно прохожих на тротуарах. Хотя на Крещатике нынешним вечером был полный аншлаг: полным-полно было там и молодёжи, и ребятни, и взрослых. Я шёл в строю своих товарищей, жадно тараща глаза по сторонам, стремясь как можно больше охватить, вобрать в себя окружавшей нас красоты. Возвращаться этой стороной, по старому Печерску, утопающему в молодой пышной зелени и цвету садов, со старинными, то приветливыми, то, напротив, чересчур строгими фасадами домов, было куда интересней, чем по бульвару Леси Украинки. И я, вышагивая в тесном, скученном строю своих одноклассников, просто упивался красотой этого удивительного, древнего и в то же время необыкновенно молодого по духу, даже юного этого города, о котором столько всего знал и читал ещё задолго до непосредственного знакомства с ним. И в который, по приезде из своего сурового сибирского края, тотчас же и влюбился, почувствовав, что как будто вернулся на свою исконную, но отчего-то давно позабытую родину, откуда вышли все мои пращуры. Наверное, так и есть. Недаром же его истари называли матерью городов русских. Стало быть, все мы так или иначе отсюда вышли, из этого древнего и прекрасного города, с этой святой и щедрой земли... Вот уже три с лишним года, как я жил здесь, ходил по его земле, ел, спал, учился, бродил по этим старинным завораживающим улочкам, но до сих пор ведь так толком и не узнал этот замечательный город... “Город прекрасный, город счастливый”, как писал о нем великий его сын, имени которого мы тогда ещё и не слышали (потому что книг его к тому времени ещё не напечатали). А не узнал — потому что мало видел: так, урывками, в редких культпоходах по театрам да в ещё более редких как для первачей увольнениях, во время которых нужно было так много всего успеть. Но всё равно ведь любил — любил всей своей пылкой душой. За что? Да хотя бы за дух захватывающую картину, открывавшуюся взору в такие вот погожие весенние дни с верхних этажей нашего старого учебного корпуса, что расположился за казармами, над самой горой: слева были видны игрушечные домишки под бурой черепицей, разбросанные внизу на холмах, опоясавших древний Печерский монастырь, они утопали в белом цвету и первой зелени проснувшихся садов; справа выстроились рядами современные элегантные высотки. А дальше — там, где зелье садов встречалась с небосводом, — угадывался край великой реки, вольно и широко раскинувшейся у подножия летописных холмов. А за ней белели новостройки левобережья... Или — за малиновый вот этот благовест, каждые пятнадцать минут разливающийся по окрестностям с большой лаврской

колокольни. Мы часто слышали его даже во время вечерних занятий в старом корпусе, когда воцарялась та особая весенняя — тихая и безветренная погода, которую мы все так любили. Он вливался поздними вечерами в открытые форточки нашей казармы и благозвучной музыкой наполнял наши юношеские восприимчивые души. И я часто засыпал под мелодичный этот звон лаврских курантов. После этого мне снились по обыкновению счастливые цветные сны — из тех, что невозможно припомнить наутро, — от них остаётся только смутное приятное чувство, как будто ангел пролетел прямо над твоей головой, едва коснувшись её своим невесомым крылом.

...”Город прекрасный, город счастливый!..” Всякий раз по пути с репетиций в казармы я по обыкновению во все глаза таращился по сторонам. И никак не мог удовлетворить свою душевную жажду напиться вволю этой красотой, которая была везде и во всём вокруг. От невероятного напряжения всех своих душевных сил и от обилия впечатлений к концу пути, когда мы вышагивали по Московской улице вдоль трамвайных путей, я уже чувствовал невероятную усталость, буквально смертельную: ноги становились ватными, совсем не желая подчиняться, на плечи словно бы ложилась бетонная плита, веки тяжелели и едва не смыкались... И ещё — одолевала мучительная жажда, горло и нёбо пересыхали так, что сложно было не то что глотать, а вообще — шевелить языком. По мере приближения к училищу улицы и дома постепенно окутывал вечерний сумрак, вдоль тротуаров зажигались фонари, где-то за поворотом тревожно позвякивал трамвай. Силуэты домов, утопавшие в дыму первой нежнейшей зелени, расплывались в глазах, всё вокруг становилось каким-то зыбким и призрачным... Я едва дотягивал ноги до казармы, кое-как раздевался до пояса, перекидывал через плечо вафельное полотенце и, не чуя по собой ног, плёлся в умывальник. А там первым делом жадно припадал ртом к крану — и всё тянул и тянул в себя холодную струйку воды. И всё никак не мог напиться, смыть с нёба и горла этот противный сухой налёт с жёстким металлическим привкусом. Потом долго тёр лицо и шею под струей прохладной воды, кое-как обмывал руками тело до пояса и на подкашивающихся ногах тащился к своей кровати. В полумраке своего “кубрика”, беспрестанно кляня носом воздух, я наскоро пришивал к кителю свежий подворотничок, раскладывал мыльно-рыльные принадлежности в прикроватной тумбочке, причём делал всё это практически на автопилоте. И как только раздавалась из коридора команда дневального “Курс, отбой!” — я тотчас же вспархивал на свою скрипучую койку во втором ярусе, засыпая, кажется, на лету, ещё не успев даже коснуться щекой прохладной своей подушки. И так — день ото дня.

И вот наконец наступил последний предпраздничный день — канун памятного того Первояма 1986 года. Нас в этот день уже почти не трогали: не гоняли и не муштровали, как обычно. Всё шло спокойно и ровно, своим привычным чередом: зарядка, завтрак, занятия по кафедрам, обед... После обеда, вместо самоподготовки мы тщательно утюжили и подшивали своё повседневное хэбэ, в котором на завтра должны были выйти на первомайскую демонстрацию, драили и чистили сапоги, словно бы стремясь протереть их до дыр, добиваясь зеркального блеска, потом снова натирали их слоем ваксы — чтоб того же блеска добиться и завтрашним утром, перед самым выходом на праздничный парад-демонстрацию. Мы не торопились: мы и впрямь плавали по казарме, как павы: из бытовки перемещались в умывальник, из умывальника — к своим койкам, обстоятельно готовясь к завтрашнему мероприятию. Нас никто не подгонял в этот день, как обычно, не подстёгивал едкими и хлесткими словечками, не пригвождал к месту громким выкриком фамилий: “Рядовой Зубов, что вы там копаетесь, как пьяный муравей?” — и потому мы слегка расслабились, и впрямь двигаясь по казарме точно слегка подшофе, как те же муравьи, напившиеся перебродившего смородинового сиропа. А в западные окна нашей бесконечно длинной казармы нещадно светило закатное, уже совершенно по-летнему ласковое солнце. И это ещё больше нас расслабляло, рассуропивало, как говаривал наш браваый старшина Володя Пацаев по прозвищу Вова Поц. Да! Мы слегка расслабились, разморенные солнцем, ощущением досрочного лета и главное —

предчувствием длинных-предлинных праздников: целых три дня на Первое мая и ещё два — на День Победы. Но при этом мы всё время пребывали на чеку, как бы на взводе, под лёгким внутренним напряжением, в готовности в любое мгновение облачиться в своё нехитрое курсантское обмундирование, натянуть надраенные до блеска яловые сапоги и за какие-то секунды занять своё привычное место в строю, в проходе между рядами двухъярусных коек. Потому что наш строгий и бескомпромиссный начальник курса подполковник Сеницын был сегодня вместе с нами, от самого, считай, подъёма и до вечерней поверки. И ночевать он тоже оставался на курсе — в его канцелярии старшина загодя приготовил кровать, застеленную свеженьким хрустящим бельём. Таков был неписанный закон: в особо важные моменты наш начальник курса был всегда вместе с нами — от начала и, как говорится, до самого победного конца. Этими своими непреложными принципами, как и характерной манерой поведения, не говоря уже о требовательности своей бескомпромиссной, он напоминал тех ещё офицеров, старой закваски, прошедших Великую Отечественную войну и ещё много чего повидавших на своём веку. В общем, он походил на героев всем известного кинофильма “Офицеры”. С той лишь разницей, что, несмотря на сухое своё, острое и изъеденное морщинами лицо, был он тогда ещё сравнительно молод, года сорок три от силы, но нам-то он и тогда казался настоящим стариком.

...Вечер этот, уже почти что летний, тянулся бесконечно долго, так долго, что уже после ужина мы и впрямь передвигались по казарме, как перебравшие хмельного сиропа мураши, полусонные, с замедленной реакцией, то и дело натываясь в тесной нашей казарме друг на дружку и при этом смачно чертыхаясь. И долго-долго ещё не закатывалось за крыши ближних от нашего забора домов, за новый наш учебный корпус столь же, как и мы, утомившееся за день, не по-весеннему нещадное солнце. Оно прорезало всю нашу казарму насквозь, словно стрелами, широкими лучами, в которых медленно кружились белые невесомые пылинки и сквозь которые двигались, словно в замедленной съёмке, все мои друзья-товарищи.

Вечернюю прогулку и вовсе отхаживали на ватных, еле волочащихся ногах. Слово бы не налегке прохаживались мы неровным строем вдоль и поперёк плаца, а с полной выкладкой, как бывало раньше, на первых курсах, во время ночных внезапных тревог: с автоматом, противогазом, да ещё и с вещмешком, набитым котелками, щётками, мыльно-рыльными принадлежностями и ещё бог весть чем. Но теперь-то мы были совсем налегке, даже стёганое зимнее нижнее бельё нам успели уже поменять на тонкое — летнее. И солнце давно уж, слава Богу, закатилось за крыши окрестных домов. И вроде бы пришла уже долгожданная вечерняя прохлада, но что-то продолжало давить на нас сверху, как будто задавшись целью пригнуть нас к земле, вдавить в неё, как никчёмных тех мурашей, которые и рады бы разбежаться в разные стороны от этой незримо нависшей над ними угрозы, да всё никак не могут — ноги, хоть и двигаются по инерции, но отчего-то совсем не слушаются, да и нет в них прежней силы. К тому же во рту отчего-то постоянно сушило, как после перепоя. Вязкая сухая плёнка обкладывала небо сплошным толстым слоем, стремясь добраться до горла и вцепиться в него мёртвой хваткой. Сушило так, что невозможно подчас было сглотнуть слюну... А потому, как только над плацом пронеслась звучная команда ринулись Пацаева: “Разойдись, через полчаса отбой!” — мы наперегонки ринулись по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, хотя нас никто и не подгонял в спину привычными командами, чтобы жадно припасть ртами к кранам умывальников, откуда в наши пересохшие глотки устремлялись живительные струи прохладной воды с характерным запахом хлорки... Мы тянули и тянули в себя эту пахнущую санчастью воду и всё никак не могли напиться, хотя животы наши и раздувались уже пузырями от этой воды, а сзади нас теснили, наседая, и даже временами отталкивали от кранов наши же товарищи: в комнате для умывания у рядов эмалированных металлических раковин постепенно создавалось настоящее столпотворение, начиналась нещадная толкотня и даже потасовки. А над головами нашими то и дело раздавались злобные окрики: “Ну, хорош уже, дайте же и другим напиться!” Всё это длилось

тоже, кажется, целую вечность — те из нас, которые уже успели напиться, продвигались толпой дальше, к писсуарам. А в умывальник тем временем прибывали всё новые и новые партии нашего брата, все как один по поясу голые, теперь уже с полотенцами, перекинутыми через плечо...

И эта суета с толкотнёй продолжалась по обыкновению аж до самого отбоя. И так изо дня в день. Но после того как звучала команда дневального: “Отбой”, — на удивление всё очень быстро смолкало и успокаивалось. А через каких-то пять минут прекращался даже привычный, кочующий из угла в угол, скрип коек. Казарма мгновенно, и впрямь как по команде, погружалась в сон. Но и сон этот не освобождал от дневной непонятной тяжести во всём теле. Напротив — и во сне продолжались дневные муки: ты снова куда-то из всех сил стремишься убежать, но ноги не слушались, отказывались двигаться, и ты с усилием перебирал ими, словно попав в вязкое болото. Но всё никак не мог сделать ни шагу. И при этом рот твой был забит мороженым, сладким, до тошноты приторным и непривычно вязким мороженым — и ты никак не мог ни сглотнуть его, ни выплюнуть. И в результате просыпался от собственного неожиданного кашля, весь взмокший, в холодном поту. Металлический скрип прокатывался по казарме вдоль рядов коек, и через какое-то мгновение всё снова погружалось в вязкий и какой-то дурманский сон.

В такую душную и тревожную апрельскую ночь — ночь накануне Первой — мне и приснилась впервые моя девочка, которую я должен был наутро пронести на руках по Крещатику, изо всех сил стараясь, чтобы деревянный мой автомат, не дай бог, не впился ей в тельце, не ударил её по ножкам... Моя “чернобыльская девочка”... Я осторожно и как-то заторможенно, как в замедленных киносъёмках, беру её двумя руками чуть ниже подмышек и поднимаю, закидываю себе на левое плечо, чувствуя, как мягкое, нежное её тельце давит на меня и как через плотную ткань моей курсантской куртки от неё распространяется тепло, течёт по моему телу прямо к груди, отчего мне становится как-то уютно и спокойно, как в далёком-предалёком детстве. Я делаю шаг-другой, придерживая мою драгоценную ношу левой рукой, а сам поворачиваю голову вправо, чтобы поймать в поле зрения идущего бок о бок со мной товарища, выровняться по нему, но почему-то никого не обнаруживаю рядом. Зато начинаю ощущать на себе свет, просто фонтаны солнечного света, льющегося сверху и как будто отделяющего нас с моей девочкой от всего остального мира. Я начинаю двигаться словно бы по кругу, по огромному кругу, идя на какой-то смутный шелестящий смех, голоса, детский приглушённый гомон, но никак не могу разобрать, где же этот смех, всё вокруг словно затянуло плотным молочным туманом, прошитым насквозь золотыми нитями солнечного света... А сверху на меня, подобно прозрачному лесному ручейку, неожиданно пролился чистейший хрустальный звон серебряного колокольчика. Я вскидываю голову вверх и вижу, что моя девочка, одетая в белоснежное праздничное платьице, и впрямь размахивает огромным серебряным колокольчиком, перехваченным сверху алой лентой. Она вся буквально светится — все потоки света, все лучи от невидимого светила, льющиеся откуда-то сверху, несмотря на плотный туман, сфокусировались в этот момент, кажется, лишь на одной моей девочке... От ярчайшего этого света я плотно-плотно, насколько хватает сил, зажмуриваю глаза, но это не помогает: свет проникает сквозь веки и продолжает ослеплять меня — этот безумный, жгучий, ядовитый свет, от которого, кажется, невозможно нигде укрыться, спрятаться, спастись... И я начинаю ощущать стук собственного сердца в груди, подобный метроному: тук-тук-тук... Тревожный этот звук словно бы приближал миг развязки... Последний неотвратимый миг... Тук-тук-тук, четыре, три, два, один...

И тут мир взорвался истошным криком дневального: “Ку-у-у-рс, подъём!” — вслед за которым во вспоротое этим криком пространство хлынула водопадом причудливая какофония привычных утренних звуков: переливчатый скрип кроватей, звонкий стук входных дверей, топот десятков, сотен кирзовых сапог по паркету... И я, оглушённый всем этим, так толком и не разлепив глаза, как лунатик, автоматически выпрыгнул в свои галифе, кое-как

натянул сапоги и ринулся по проходу между койками навстречу слепящему свету, на ходу вливаясь в поток своих сокурсников.

Я шёл в плотном строю своих сокурсников, стараясь попадать в ногу впереди идущему товарищу. А строй наш двигался вдоль тыльной части старого учебного корпуса. За причудливый его конёк, ромбом возвышающийся над крышей, казалось, цеплялись невесомые барашки плывущих по нежно-голубому небу редких облаков. Облака эти, подобно небесным парусникам, неслись с северо-востока прямо нам навстречу. В лицо дул свежий ветер откуда-то со стороны Лавры, с Днепра. Лёгкий этот весенний ветерок донёс до слуха прерывистый серебряный звон часов с Печерской колокольни. И в этот самый миг я мысленным своим взором увидел внутреннее убранство какого-то собора из Киево-Печерской лавры, куда нас не так давно возили на экскурсию: там, на синем небесном фоне среди белых облаков был изображён Христос в белой воздушной накидке. Он словно бы спускался с этих самых облаков на землю, весь в сонме солнечного или, вернее, небесного... горнего света...

Между колоннами демонстрантов образовалась неожиданная брешь, которая становилась всё шире, и мы быстро вклинились в эту брешь, развернувшись по всей ширине улицы своими шеренгами. Вдоль наших рядов несколько раз с каменным лицом пролетал наш курсовой командир подполковник Синицын, обжигая нас своим орлиным испепеляющим взглядом, одновременно оценивая и наш внешний вид, и ровность рядов, и ещё что-то такое, о чём нам знать было совсем необязательно. А следом за ним вдоль наших шеренг прошли строгие люди в одинаковых серых плащах и в такого же цвета шляпах. И только после этого мы начали движение вперёд, по направлению к центральной площади — и всё это, опять же, как при замедленной киносъёмке. А я всё ждал, когда же между нашими рядами наконец замелькают белые банты и белоснежные платица.

Когда наши шеренги миновали помпезное здание ЦУМа, с левой стороны вдоль наших рядов стремительно потекли трепещущие ручейки из белых и алых бантов, словно бы на весеннее поле, только-только подернувшееся первой травкой, выпустили целую тучу бабочек-капустниц. И мальчиков среди них на этот раз не было вовсе, наверное, где-то наверху посчитали, что так будет выглядеть куда трогательней и убедительнее и что с девочками на руках мы как раз будем больше всего походять на солдат-освободителей, увековеченных в знаменитой скульптуре Вучетича в берлинском Трептов-парке.

И хотя теория вероятности с каждой пробежавшей мимо пигалицей отнимала у меня шансы встретиться со своей девочкой, но я её-таки заметил — выхватил взглядом из пёстрой толпы таких же образцово-белоснежных девочек: белые переднички, белые носочки, белые банты над головами... Я заметил её ещё издали в передней шеренге — я буквально запеленговал на себе её тревожный, ищущий взгляд. И в какой-то момент наши глаза встретились. В следующее мгновение я инстинктивно прыгнул, как будто над нашими головами засвистели пули, и нырнул между двумя своими сокурсниками вперёд, протянув руки к моей девочке. И она как будто тоже ждала именно вот этого момента, когда я, а не кто-нибудь другой, протянет к ней свои руки, и потому сразу же с готовностью потянулась навстречу ко мне. А ещё через мгновение я был уже на своём законном месте со своей девочкой на руках, её мягкая попка приятно грела моё левое плечо — и тепло это, казалось, волнами разливалось по всему моему телу.

Подполковника Синицына на этот раз и в помине не было. И потому тревожный холодок тотчас пробежал по нашим спинам, холодные капельки пота выступили на лбах — эти плащи, эти каменные лица и стальные взгляды! — нам как бы ещё раз дали понять, какая ответственность сейчас лежала на наших плечах. Будто мы и сами не чувствовали эту ответственность — она была живой и тёплой и давила на наши худые плечи своим реальным и весьма ощутимым весом. И тут мы услышали резкий вскрик нашего родного Синицына — на этот раз справа, откуда-то из толпы зевак:

— Ра-вне-ние держать, сынки!

Этот надрывный окрик-команда подействовал на нас, как глоток свежего воздуха, а на кого-то — как ушат ледяной воды: значит, мы не одни, наш

командир с нами, значит, всё-всё идёт как надо, всё в полном порядке. И никакие серые плащи не представляют для нас ровным счётом никакой угрозы. Каждый из нас повёл глазами вправо, подстраивая шаг под рядом идущего товарища, чтоб выровнять шеренгу. Там, справа, за толпой людей был знаменитый киевский Пассаж с двумя просторными двухэтажными “Кафе-мороженое”, огромными своими окнами-арками глядящими прямо на Крещатик... А ещё через каких-то десять-двадцать шагов мы оказались на площади перед трибуной: серый угол консерватории, синий срез неба над ним, конус гостиницы “Москва” со звездой на шпигеле, за который едва не цеплялись причудливые барашки облаков. Где-то там дальше, за консерваторией, на одной линии с гостиницей “Москва” находилась правительственная трибуна, на которую мы должны были таращиться, вздёрнув подбородки и одновременно держа равнение в шеренгах, причём на лицах наших обязательно должна была сиять бодрая, радостная улыбка, — так инструктировал нас утром на плацу перед погрузкой в машины наш курсовой командир подполковник Синицын. Мы к этому времени уже преодолели довольно большое расстояние от ЦУМа до главной площади города с нашими драгоценными ношами на плечах и потому теперь нам было трудновато держать шаг, соблюдать равнение в шеренгах, да ещё при этом и задорно улыбаться, глядя на трибуну. Но мы старались — старались изо всех сил, потому что чувствовали, всей своей плотью чувствовали возложенную на нас в эти минуты ответственность. А ещё — всем нам в эти погожие праздничные дни хотелось любой ценой вырваться из стен нашего училища на свободу — в увольнение. Мы ведь знали, помнили, что хотя наш командир и затерялся в праздничной толпе, он всё равно каким-то неведомым образом продолжает следить за каждым из нас своим орлиным недремлющим оком. И не дай Бог кто-то осмелится не выполнить его утреннее указание: бодро и счастливо улыбаться!.. И потому мы отчаянно скалились, задрав наши бедовые головы в сторону трибун, хотя солнце — нещадное первомайское солнце — слепило и выедало наши глаза. И от этого совершенно невозможно было рассмотреть, кто же там нас приветствовал, с этой самой правительственной трибуны. Однако всем нам хорошо запомнилось одно — людей на трибуне на этот раз было совсем мало, четыре или пять от силы человек, тогда как обычно на парадах на Седьмое ноября или День Победы она была заполнена членами республиканского правительства аж в три или даже четыре ряда.

И вот мы, как во сне, миновали трибуну, площадь и оставшуюся часть Крещатика до угла ресторана “Столичный”. Жёлтый срез филармонии на площади Ленинского комсомола уже замаячил впереди, но мы всё ещё по инерции продолжали держать шаг, осанку и равнение в шеренгах. И держали их до конца, чуть ли не до самого поворота у гостиницы “Днепр”, как и наказывал нам утром наш строгий командир. Наконец по нашим рядам прокатился вздох облегчения, а вслед за ним и команда:

— Снять детей с плеч!

Я, как мог осторожнее, перехватив свою драгоценную ношу левой рукой под мышками, а правой — за ножки, опустил её на асфальт. В это короткое мгновение девочка моя последний раз озарила меня своим не по-детски глубоким, тревожным взглядом и выпорхнула, подобно бабочке, из моих слегка дрожавших от напряжения рук. Оранжевые круги тотчас же поплыли перед моими глазами, и огненные мотыльки замелькали в этих кругах. Дальше я двигался, как во сне, на ватных, подкашивающихся ногах среди пёстрой, мельтешащей и галдящей толпы людей. Голос подполковника Синицына служил надёжным маяком в этом беспокойном людском море. Мы все, как зомби, шли на его голос:

— Тринадцатый курс, собраты у гостиницы “Днепр”.

Да, наш курс был тринадцатым, 1983 года формирования...

А дальше — всё закрутилось, как на заезженной киноплёнке: перекличка у гостиницы “Днепр”, передвижение по относительно свободной уже от людей улице Кирова до стадиона “Динамо”, погрузка на машины и вперёд — нижней дорогой через парк и Набережное шоссе восвояси, в родные пенаты. И даже сквозь пыль и выхлопные газы до нас доносился извне густой сладкий

запах печерских садов, когда мы уже поднимались в гору, к парадному входу своего училища. Глотки наши к этому времени уже успели пересохнуть, и потому этот приторно-сладкий запах цветущих деревьев, перемешанный с запахом бензина и гари, вызывал теперь тошноту. Хотелось только одного — поскорее оказаться в казарме, сбросить с себя взмокшие гимнастёрки и прильнуть ртом к крану с живительной влагой.

Весь оставшийся день прошёл, как в тумане: руки и ноги делали своё привычное дело — передвигались по плацу, в столовую и обратно, подметали полы, заправляли и выравнивали под линеечку кровати, утюжили парадные китель и брюки, а голова и, главное, душа — жили своей отдельной жизнью, как бы взирая на всю эту суету откуда-то со стороны и сверху. По-прежнему всё время пересыхало во рту, и оттого в умывальнике постоянно скапливался народ: мы то и дело тянулись к водопроводным кранам, наспех смачивая лица, снова и снова принося ртами к струям воды, текущим из них. За окнами тяжело дышал зноем небывало жаркий для первого мая и какой-то изматывающе душный день.

Наш строгий командир подполковник Сеницын привычно бодрым и чуть хрипловатым голосом, гулко разносящимся по всем, даже самым отдалённым уголкам казармы, инструктирует нас о правилах поведения в городском увольнении. Мы привычно, в полудрёме, слушаем давно заученные назубок рекомендации нашего начальника курса, состоящие в основном из “нельзя”, “нельзя” и ещё раз “нельзя”. Но на этот раз Сеницын как-то не особенно многословен, привычные свои “нельзя” перечисляет он без особого, присутствующего только ему, едкого юморка, без характерных ярких примеров — и вообще он на удивление довольно скоро свернул свой привычный инструктаж, как-то незаметно с менторского, назидательно-поучительного тона спустившись на отечески-доверительный, отчего мы как-то враз обратились все во слух и внимание.

— Вот что я вам скажу, ребятаки, — совсем уж тихо и как-то устало проговорил Сеницын, — по возможности по улицам сейчас не особенно шляйтесь. У кого есть родные и знакомые — сходите к ним, у кого нет — рекомендую остаться в казарме. Двери, окна и форточки закрыть и без крайней надобности не открывать. Тряпки у порогов смачивать регулярно. Пикники и посиделки на природе желательно отменить. Родственники и родители ваши, пребывающие сейчас в Киеве и области, думаю, уже проинструктированы на этот счёт...

Сон и дрёма, в которой мы все пребывали ещё каких-то две-три минуты назад, мгновенно улетучились, и мы, как галчата, вытянув шеи, внимательно вслушивались в каждое слово, произнесённое нашим командиром. А слова его становились всё тише и тише. И последние он произнёс вообще не возвышая голоса, как будто говорил их только для двух-трёх человек, находящихся в непосредственной близости от него.

— Несколько дней назад на Чернобыльской атомной станции произошла авария, масштабы и последствия её пока неизвестны. Но в Киеве уже зафиксирован повышенный радиационный фон. Так что попрошу отнестись к моим словам со всей серьёзностью и ответственностью.

Дослушав командирские наставления, мы расхватили наши увольнительные записки, гурьбой высыпали на плац и дружно, ускоренным шагом, а то и бегом, рванули к КПП. Мы с другом моим Андриюхой Барабанщиковым, два неприкаянных иногородних кадра, которым, как обычно, некуда и не к кому было ехать — идти — спешить, отправились, не торопясь, пешочком по пустынным, залитым сплошь ласковым, вполне уже летним солнцем Печерским улицам привычным путём — по Московской, затем по Суворова, вдоль трамвайных путей по направлению к станции метро Арсенальная, за которой в нескольких всего шагах притаилось старое, крепостного вида здание военной комендатуры из красного кирпича, которое нужно было быстро и незаметно обогнуть по другой стороне улицы, чтоб, не дай Бог, не попасться на глаза патрулям — и в результате выйти к Центральному парку, широко и вольно раскинувшемуся по днепровским склонам и протянувшемуся аж до самого Подола. В обширном этом парке, террасами спускавшемся

к самому Днепру, к набережной, можно было укрыться от посторонних глаз, и прежде всего, конечно же, от глаз вездесущих патрульных... Других людей на улицах было очень мало, почти совсем не было вокруг людей, что нас в очередной раз изрядно озадачило.

Мы шли вдоль полупустых базарных прилавков и остановились разом, опять же словно бы по команде, возле пожилой женщины, можно сказать, старушки, у которой волосы были прихвачены белоснежной косынкой, завязанной сзади узлом на особый манер. Перед нею на прилавке стояли две внушительных размеров плетёные корзины, обе с крупной спелой клубникой, которая словно бы сама просилась нам в рот.

— Берите, мальчики, вся ягода отборная, чистая, только что из сада! Берите — не пожалеете!

— Какая ранняя нынче клубника! — удивлённо проговорил Андрей.

— И не говорите, сами удивляемся! — всплеснула руками женщина. — За неделю вызрела за последнюю, вот как только жара пришла. У меня теплица во дворе — специально для клубники, чтоб пораньше первый урожай получить, так на этот раз даже плёнку на день убрали, поскольку она на солнце открытом ещё быстрее в рост пошла. Берите, не пожалеете, у меня клубника вкусная, сорт особый, заграничный, для вас, служивых, вообще задёшево отдам.

И женщина назвала и впрямь небольшую для клубники, да еще в столь раннюю пору цену.

Мы с Андреем, переглянувшись, взяли целых три килограмма и через полчаса уже сидели на лавочке в Центральном парке у старинного фонтана, отлитого из чугуна в виде огромной чаши, и не торопясь ели сочную эту клубнику, предварительно сполоснув её здесь же, в фонтане. При этом несколько мелких ягод остались плавать в нижней его чаше, куда из верхней неторопливо и мощно, как на настоящем водопаде, ниспадала сплошным потоком вода. И от воды этой фонтанной веяло прохладой, что приносило хоть какое-то облегчение нам, двум вконец измотавшимся от жгучего этого зноя курсантам, которые по уставу даже не имели права снять свои фуражки, находясь вне помещения, не говоря уже о том, чтоб расстегнуть кителя.

Но мы с дружкой моим, нарушив все подряд правила и уставы, на этот раз и расстегнулись, и сняли свои взмокшие по околышу фуражки, положив их рядом с собой. А через какое-то время стянули с себя и кителя, перекинув их на спинку лавочки, и даже слегка расслабили на шее галстуки, потому что уже окончательно уверились в том, что никакие патрули нам сегодня не грозят: парк, как, впрочем, и весь остальной город, был абсолютно безлюдным. Ни одного человека, ни одного детского крика, как это обычно бывает об эту пору в парках, — вообще ни души не было вокруг! Город враз опустел, словно бы вымер. И лишь издали, оттуда, где проходила дорога, изредка доносились нетерпеливые гудки машин и лягз трамвайных колёс о рельсы. Трамвай заворачивал у Дома офицеров в переулок. Здесь же, в парке, не слышно было даже привычного птичьего щебета — всё примолкло, затаилось и в природе то ли от нещадной этой жары, то ли в ожидании чего-то. Но чего же — чего?

“Древний город словно вымер, странен мой приезд”, — всё время крутились на уме ахматовские эти печальные строки, невесть откуда всплывшие в моей памяти. И я всё повторял и повторял их про себя, как в бреду, едва шевеля пересохшими губами, пока мы с Андреем шли по опустевшим улицам внезапно притихшего, словно испуганного кем-то города вниз, к Крепятику, а затем — дальше, к Подолу. Мы шли, как во сне, не зная цели и направления своего пути — просто шли и шли по зелёным извилистым живописным улицам этого чудесного города, ставшего свидетелем нашей юности, нашего постепенного мужания, города, навек вошедшего в наши жизни и судьбы. Города, с которым мы уже успели срастись своими пылкими и чуткими мальчишескими душами. Всё было в нём мило сердцу и свято для нас: и белые монастырские стены древней Лавры, её пустынные, чистенькие и привычно залитые солнцем дворики, площадки и сады; и эти старинные симпатичные дома, свидетели иных эпох и времён, грозных и радостных

событий, о которых мы знали из учебников истории, — мимо них мы теперь неторопливо шли по старой булыжной мостовой, и шаги наши гулким эхом отскакивали от стен, теряясь в извилистых и манящих закоулках. И хотя день давно уже перевалил за середину, солнце всё ещё пекло наши стриженные макушки, стремясь заглянуть прямо в глаза, отчего мы блаженно щурились и улыбались, как будто бабушки и мамы в этот момент прикасались к нам своим тёплыми родными руками. Мы шли медленным расслабленным шагом по завораживающим киевским улочкам, расстегнувшись и сняв фуражки, как по бесконечному музею под открытым небом, любовались домами, синим небом с редкими барашками проплывающих по нему облаков и всё никак не могли взять в толк: куда же подевались все люди, где все эти приветливые, по обыкновению улыбочивые горожане, где же девушки в лёгких летних платьях выше колен — киевские смешливые “дивчата”, на которых мы обычно заглядывались во время редких наших увольнений в город? Где, наконец, звонкоголосая ребятня? Где привычная жизнь, сутолока и какофония большого города? Почему он в одночасье превратился в огромный музей под открытым небом, а его немногочисленные служители попрятались все по домам? И это в такой-то чудесный летний день! Обычно в такие дни все горожане, которые не разъезжались по загородам и дачам, по обыкновению тянулись к воде, к тихим уютным пляжам на островах, где всегда можно было укрыться в тенистых уютных прибрежных уголках. Но и пешеходный мост, перекинутый на Труханов остров, на этот раз тоже был на удивление пуст, да и на жёлтых песчаных пляжах противоположного берега совсем не было видно людей. Только редкие машины да городские троллейбусы с автобусами проезжали мимо нас по дороге, глухо шурша шинами по нагретому солнцем асфальту. От этой пустынности вокруг, от этой непривычной глазу, почти сюрреалистической картины враз обезлюдевшего города становилось как-то неуютно и тревожно на душе. И чувство это по мере нашего продвижения по паркам и улицам только всё усиливалось и усиливалось. Да к тому же ещё давила и выжимала из нас последние соки и силы эта нещадная духота, от которой постоянно пересыхало горло и хотелось пить. Мы и так останавливались фактически у каждого автомата с газированной водой по одной копейке за стакан без сиропа, но это помогало совсем ненадолго. А потому до Красной площади, расположившейся в самом центре старого Подола, мы еле-еле доползли.

Я расслабленно вглядывался в колеблющуюся даль и пытался нарисовать мысленно образ девушки, своей одноклассницы, которая мне нравилась когда-то и которая осталась в родном моём городе. И вдруг за деревьями в свете солнечных лучей, пронизавших наискось, подобно светозарным стрелам, весь сквер, я отчётливо увидел тоненькую, как берёзка, фигурку девушки в белом невесомом платье с распущенными по плечам золотистыми волосами; она медленно двигалась в нашу сторону, словно бы паря над землёй в раскалённом колышущемся воздухе. Девушка приветливо улыбалась мне, и улыбка эта освещала своим волшебным светом всё вокруг. Теперь свет исходил не от солнца, а именно от этой девушки, вызванной моим воображением. Но вот же незадача: от этого яркого слепящего света я всё никак не мог рассмотреть её лица. А она между тем всё шла и шла мне навстречу, словно бы паря над землёй, но при этом ни на йоту даже не приблизившись к нашей лавочке. В конце концов, это видение стало меня утомлять — и я невольно отпустил его. Капли пота непрерывно катились по моим вискам и спине...

Дико хотелось пить. Я повернул голову влево и обнаружил, что остался совсем один на этой парковой лавочке, выкрашенной в ядовито-зелёный цвет... Андрея не было рядом. Его вообще нигде не было. Я встрепнулся: куда же он мог деться? Огляделся по сторонам. Вокруг, казалось, вообще не было ни души. Слово бы я остался один-одинёшенек в целом свете. И только лишь неумолимый трамвай, лязгнув и проскрипев на повороте, снова подкатил к остановке вдали за деревьями. Охваченный ужасом полного одиночества — в этом парке, в этом сквере и, кажется, во всём городе, — я изо всех сил рванулся к трамваю, вскочил на бегу на подножку. И двери его тотчас же

захлопнулись за моей спиной, развернувшись гармошкой. Пустой трамвай тронулся, не торопясь объехал полукруглое величественное здание морского училища и завернул в переулок, продолжая двигаться вдоль его забора, по направлению к набережной Днепра, потом нырнул ещё в один проулок направо, и, как всегда, весело взвизгнув на повороте, бодро побежал мимо жёлтеньких вековых домишек старого Подола. Людей на улицах по-прежнему почти не было. Что ж удивляться — выходной же, праздничный день, — мысленно успокаивал я себя. Но смутная тревога на душе никуда от этого не делась. Согревало и немного успокаивало лишь присутствие вагоновожатой за тонкой трамвайной перегородкой, отделявшей кабину от салона для пассажиров. Да и сам трамвай время от времени задорно позвякивал на поворотах, отчего становилось как-то теплее на душе, ведь раз ходит трамвай, значит, это кому-то нужно, значит, где-то должны быть люди. И словно в подтверждение этих мыслей за окном на тротуаре я увидел трёх подвыпивших дядек — они то и дело обнимались, видимо, прощаясь, и при этом продолжали что-то бурно во весь голос обсуждать. Окна кафе за их спинами, как обычно, призывно светились оранжевым приглушёнными огнями. Оттуда даже, кажется, доносилась музыка. “Значит, жизнь в городе всё-таки есть! — радостно подумал я. — Значит, всё нормально, всё хорошо!..”

Отяжелевшие к концу дня мои ноги словно бы сами собой безошибочно вывели меня к старому жёлтому трёхэтажному зданию в проулке, над входом которого красовалась крупная надпись “Подольские бани”. Это как раз то, что было нужно и даже необходимо мне в данный момент — скорей-скорей сорвать с себя эту ненавистную липкую зелёную одежду и стать под прохладный освежающий душ!.. А после устроиться поудобнее где-нибудь на самой верхотуре парной, залечь там минут на двадцать, а то и полчаса, чтобы сошло с тебя сто потов вместе со всеми впечатлениями, маятой и усталостью сегодняшнего длинного-предлинного и столь утомительного дня. Но как я ни крепился, лёжа на самом верхнем, как и мечтал, полке, больше десяти минут на этот раз в душной, сплошь заполненной паром парилке не выдержал. Хотя людей было немного и воду на раскалённые камни никто не брызгал, я вылетел оттуда, как пробка, и тотчас стал под прохладный душ. Но и за эти десять минут с меня успело сойти семь потов. Затем на подкашивающихся ногах добрался до парной. Наверх лезть уже не было никаких сил — присел с “холодного”, дальнего от печки края на самую нижнюю ступеньку. А минут через десять — снова под душ... И так раз пять подряд, пока радужные круги не поплыли перед глазами и ноги не начали подкашиваться в буквальном смысле...

Долго сидел в предбаннике, до подбородка завернувшись в казённую, пахнущую дешёвым стиральным порошком простынь, и, блаженно прикрыв глаза и время от времени отхлёбывая маленькими глоточками из бутылки шипучей минералки, вслушивался в привычный трёп полуголых мужиков, расположившихся небольшой компанией поодаль, в углу у приоткрытого окна, и благостно потягивающих пиво, а может, и с добавлением чего покрепче. Когда-то в этих банях я услышал от их завсегдатаев, что здесь в своё время якобы любил париться сам Куприн. И ещё, дескать, много всякого известного люду перебивало в разные времена в этих стенах. Тот же актёр Леонид Быков, например, из знаменитого фильма “В бой идут одни старики”. Он, по рассказам местных старожилов, хоть и жил на Русановке, но очень любил посещать именно эти “исторические” подольские бани, которые жаловал за их старину и особый подольский колорит местной публики. Обычно такие разговоры велись в широком кругу и под стаканчик-другой вина, а то и беленькой. В бане этой и впрямь всегда было многолюдно, шумно, весело. Не то, что сейчас: один-два человека всего и, как говорится, обчёлся. Но и эти несколько человек тоже теперь вели достаточно оживлённую беседу, хотя и не громко, как бывало обычно, а, напротив, вполголоса, а иногда и вовсе переходя почти на шёпот, так что для того чтобы разобрать, о чём идёт речь, нужно было напрягать слух, на что не было уже совершенно никаких сил. Но при этом до моего слуха и сознания с той стороны лавки время от времени всё же долетали отдельные тревожные слова: “Чернобыль”,

“радиация”, “эвакуация”. Всё это постепенно соединилось в уме с тем, что сказал нам днём на построении перед увольнением наш старый начальник курса, и для меня стало совершенно очевидным, что всё это было никакой не “страшилкой”, а истинной правдой... А покуда об этом вовсе уже судачили даже в городской бане, стало быть, это уже никакая ни для кого не тайна, как пытался внушить нам наш старый мудрый командир... И судя по тревожным приглушённым голосам завсегда балагуристых и шумных здешних парильщиков, случилось нечто и впрямь из ряда вон выходящее.

В раздевалке против обыкновения и в обход всяких правил было настежь распахнуто боковое окно. Человек пять мужиков в простынях сгрудились вокруг него. Оттуда доносился назойливый рокот генератора, установленного, видимо, под самым окном, пахло бензином, удушливыми выхлопными газами и чем-то ещё... Тяжёлым и неуловимым. Какой-то едкой и всепроникающей пылью. Через некоторое время я отчётливо ощутил, что характерный рокот электрогенератора был отнюдь не единственным источником гула, заполнившего собой, казалось, весь окружающий мир и заставившего дрожать толстые, в два кирпича, стены старых-престарых, строенных на века подольских домов. Издали, видимо, с набережной, был слышен другой — мерный и приглушённый гул, как будто по городскому шоссе, вытянувшемуся вдоль реки, шла бесконечная воинская колонна, состоящая из разнокалиберных боевых машин, устроенных на базе мощных “Уралов” и “КамАЗов”. Именно этот отдалённый и непонятный гул, а не истеричная трескотня генератора под окнами, и не давали мне до сего момента покоя, вызывая какую-то смутную и до противности назойливую тревогу внутри. Через полчаса, выпив в буфете три кряду стакана жиденького чаю на травах, при этом так и не утолив до конца жажды, я вышел на лестничную клетку и, достав из “дипломата” почтутую бутылку минералки, присел на низком широком подоконнике, чтоб перевести дух и хоть как-то разложить по полочкам многочисленные впечатления сегодняшнего длинного-предлинного дня. Боковая рама окна была приоткрыта — оно выходило во двор. Оттуда по-прежнему доносилась трескотня невидимого генератора. Я глотнул минералки и осторожно выглянул из окна, навалившись корпусом на подоконник. И первое, что увидел, был как раз тот самый генератор, который своим назойливым и противным стрёкотом так раздражал мой слух. Провода от него тянулись к кунгу аппаратной, смонтированной, как я и предполагал, на шасси “Урала”. В таких аппаратных мы несли дежурство на учебном узле связи, расположенном за городом по Бориспольской трассе. Только сейчас перед моими глазами была никакая не аппаратная связи, как можно было предположить на первый взгляд, — к машине этой с зелёным кунгом тянулась огромная закручивающаяся по двору в две петли и уходящая куда-то за его пределы, за угол здания, очередь из измождённых людей в зелёных армейских хэбэ и со средствами химзащиты за плечами. Все они были в основном пожилого возраста — от тридцати лет и старше, многие из них как бы украдкой курили, воровато озираясь по сторонам. Зрелище было удручающим, поскольку эти вояки больше походили сейчас на военнопленных, на измученных голодом и болезнями немцев после их разгрома под Сталинградом, которых выстроили для допроса, а может быть, и... И тут я увидел, что перед аппаратной этой, которая была больше похожа на газовую камеру, стояли два часовых в защитных комбинезонах, на лицах респираторы. Они ощупывали разоблачившихся догола этих бойцов из бесконечной колонны длинными зондами каких-то приборов и лишь только после этого пропускали их внутрь передвижной “газовой камеры”. Свои зелёные хэбэшки “пленные” отбрасывали в сторону. Их тут же сгребали в большую кучу граблями два солдата в респираторах, на вид помоложе тех двоих, что стояли на часах возле кунга, — видимо, это были обычные срочники. Куда это тряпье девалось дальше, мне не было видно из-за ограниченного обзора, и не было уже сил высунуться хотя б на полкорпуса из окна, чтобы посмотреть, что же там делается сбоку, в глубине двора. Мой взор упёрся аккурат в то место, откуда во двор вползала огромная извивающаяся змея из вот этих жалких “военнопленных”, доставленных сюда неведомо с какого поля брани. А ещё там, в узком проёме между домами, мне был хорошо виден кусок набережной

и шоссе, по которому всё двигалась и двигалась бесконечная колонна из серых, тускло освещённых автобусов, на которых обычно возят ребятишек в пионерлагеря. Поток этих автобусов всё никак не заканчивался. Как не заканчивалась и очередь из бедных “арестантов” в банном дворе: из тёмной и безликой по мере приближения к цели, то есть кунгу “адовой машины”, она постепенно превращалась в ослепительно белую — неприлично яркими пятнами отсвечивали разоблачённые ягодички “арестантов”. Куда вся эта людская масса девалась дальше, мне не было видно, но, похоже, что всех их пропускали через помещение бани в первом этаже. Зрелище это было, что называется, не для слабонервных — оно напоминало больше кадры из кинохроники военной поры. Вид бесчисленной вереницы голых задниц ослеплял и обескураживал. Он магически притягивал к себе взгляд. Вернее, взгляды. Я заметил, что с противоположной стороны здания, где размещалось женское отделение, одно из окон было приоткрыто и за ним ощущалось какое-то нервное движение. Но на всё это никто из “узников” из очереди почему-то не обращал никакого внимания, как это обычно бывает при соприкосновении больших мужских компаний, тем более сплошь состоящих из “служивых”, с представительницами противоположного пола. Как будто очередь эта была сама по себе, а весь остальной мир — сам по себе. Смотреть на всё это было до невыносимости жутко. И страшно. Сюрреализм какой-то, да и только. Хотелось по сильнее ущипнуть себя, чтоб быстрее проснуться. Но и двигаться, и что-либо вообще предпринимать тоже не было никаких сил — только и оставалось, что сидеть вот так, подобно истукану, и тупо наблюдать за мерно топчущейся, казалось, на одном месте, этой бесконечной людской змеёй, незаметно вползающей в пасть “адской машины”, установленной в углу банного двора...

“Чер-но-быль — чёрная быль!” — звучало в голове сквозь шум и треск генератора, как будто кто-то выстукивал на печатной машинке эти жуткие и непонятные слова. “Чернобыль — с украинского значит польнь”, — вспомнились вдруг неведомо кем оброненные сегодня днём на построении слова, после того как наш начальник курса вскользь упомянул об аварии на атомной станции. А кто-то ещё добавил к этому вполголоса, почти шёпотом: “Звезда польнь”. ...Звезда польнь!.. “Но почему звезда?” — ещё подумал я тогда. А теперь, сидя на подоконнике в третьем этаже подольских бань и наконец оторвав свой взгляд от земли, от завораживающей картины еле движущейся людской очереди, состоявшей из обречённого вида мужиков с голыми задницами, я взглянул вверх, в тёмно-сизое небо над городом и тотчас же увидел яркую, мерцающую, переливающуюся магическим бриллиантовым блеском звезду. Но это была Венера, а никакая не Польнь — это уж я знал наверняка.

Эту же самую звезду — несравненную царицу ночного неба Венеру — я наблюдал сквозь полуприкрытые веки и ночью, далеко после отбоя, и всё никак не мог оторвать от неё своего замороженного взгляда... А за час или полтора до этого, сразу же после протяжной команды дневального: “Отбой!” — меня тряс со всей силы за плечо мой дружок Андриуха Барабанщиков, осатанело приговаривая: “Где ты был, слышишь, где ты был, сволочь, я тебя спрашиваю? Я же сказал, никуда не уходить, пока я смотаюсь на почту, туда и обратно!” А я ничего не мог толком объяснить своему другу, вместо слов издавая какое-то невразумительное мычание. Потому что к этому времени я до смерти хотел спать, и, кроме того, я чувствовал, что меня начинает знобить и потряхивать ещё и изнутри. В голове жутко трещал электрогенератор из банного двора, как будто я его притащил оттуда за собой в казарму. И при этом по-прежнему дико хотелось пить. В конце концов, Андрей отстал от меня, потеряв, видимо, надежду добиться чего-то хоть мало-мальски вразумительного. Похоже, он подумал, что, пока он ходил на почту, я с кем-то вдрызг набрался, поскольку, трясая меня, как грушу, он всё время насторожённо прихихливался к моему дыханию. Ну и пусть! Я хотел теперь только одного: чтоб меня поскорее все оставили в полном покое. Потому что на тот момент меня больше всего волновал таинственный свет Венеры, заглядывающей к нам в казарму через окно. Он ласкал и успокаивал меня, снимал боль и усталость...

Ночью, помню, чуть ли не до самого рассвета, меня мучили кошмары. Вот я иду, словно обезумев, сквозь ряды голых мужиков, выстроившихся в извиляющуюся очередь к зелёному кунгу. Иду и заглядываю каждому в глаза, и трясую кого-то за плечи, и кричу ему что-то в ухо, но меня почему-то никто не слышит, все виновато опускают глаза, а то и вовсе отворачиваются в сторону. А очередь эта адава всё не заканчивается и не заканчивается, как будто она бесконечна, как будто она проложена с земли прямо на небо... Через пышущую огнём и паром адаву эту машину с зелёным кунгом...

Я, с трудом оторвавшись от подушки, спрыгиваю со своей койки во второй ярус, быстро, как перед построением, влезая в сапожищи на голую поверхность белых своих кальсон и устремляюсь со всех ног к бледному пятну выходной двери. Сапоги мои при этом тупо ударяются о паркет, и глухой их топот, дробно отражаясь от стен, больно ударяет мне же по затылку. Неожиданно резкий, пронзающий насквозь скрип кроватных пружин несётся вслед за мной через проходы между рядами коек, соединяясь в один истошный визг, отчего тошнота только усиливается... Я едва успеваю добежать до крайней кабины в туалете, как тотчас же выпрастываю из себя зелёно-жёлтую жижу. Потом, вконец обессилив, весь в холодном поту, прислоняюсь лбом к косяку у окошка и жадно вдыхаю свежий, напоенный влагой воздух, льющийся с улицы через распахнутую форточку. Взгляд мой тупо устремлён в окно — и там, внизу, у противоположной кирпичной стены старого учебного корпуса сквозь постепенно редющую темь я с каждой минутой все отчетливее различаю контуры зелёного кунга радиостанции. Я точно знаю, что это аппаратная радиосвязи, потому что сам же с ребятами из своей группы её и разворачивал недавно. И даже успел уже побывать внутри неё во время занятий по спецподготовке. Но теперь моё воспалённое сознание воспринимало этот кунг не как обыкновенную аппаратную радиосвязи, а как всю ту же “адову машину” с заднего двора старой подольской бани. И вот уже живая очередь из полуголых, с затравленными взглядами мужчин мерещится мне в полутьме нашего училищного двора. Она, извиляясь змеёй, заворачивает аж за угол противоположного здания, к училищному автопарку...

Я ещё долго всматривался в жидкую предрассветную темь за окном, отчего в глазах моих начали вспыхивать серебряные колкие звёздочки, и оранжевые сферы поплыли перед взором подобно радиоволнам, всё расширяясь и расширяясь... В изнеможении прикрыв глаза, я облизнул пересохшие губы и вдруг сквозь напряжённую предрассветную тишь отчетливо услышал негромкий “малиновый” благовест — это проснулись и возвестили о начале нового дня куранты большой Печерской колокольни, мелодия которых так напоминала праздничный колокольный перезвон. И тут, перекрывая эти волшебные звуки, льющиеся, казалось, к самому моему сердцу, истерично взвизгнул хриловатый голос дневального с тумбочки: “Ку-урс, по-о-дъём!” И уже через секунду гулко захлопали двери в казарме и умывальнике: сотни кирзовых сапог затопотали по коридору, неумолимо приближаясь и заполняя собой всё вокруг...